Ганс Христиан Андерсен

Психея

На заре в румяном утреннем небе горит крупная, яркая звезда. Луч ее дрожит на белой стене, словно хочет начертить на ней рассказы обо всем, виденном ею там и сям на нашей вращающейся земле. Послушай же один из ее рассказов!
— Недавно (недавнее для звезды для нас, людей, означает событие, совершившееся несколько столетий тому назад) лучи мои следили за одним молодым художником; жил он в папской столице, во всемирном городе Риме. Многое изменилось там с течением времени, хотя такие перемены и совершаются далеко не так быстро, как человек становится из ребенка стариком. Императорский дворец и тогда уже был в развалинах; между поверженными в прах мраморными колоннами и над расписанными золотом стенами полуразрушенных терм возвышались фиговые и лавровые деревья. Колизей тоже представлял одни руины. Но церковные колокола звонили; ладан курился; по улицам проходили процессии со свечами и сияющими балдахинами. Рим был городом церковной пышности, но здесь также процветало и высоко почиталось искусство. В Риме жили величайший художник мира Рафаэль и величайший ваятель средних веков Микеланджело. Сам папа отдавал честь обоим, удостаивал их своими посещениями. Искусство признавали, чтили и награждали. Но, конечно, не все достойное замечалось и удостаивалось награды.
В маленькой, узенькой улице стоял старый дом, бывший некогда храмом. В доме этом жил молодой ваятель, бедный, безызвестный. Но у него, конечно, были друзья, тоже молодые художники, юные душой, богатые надеждами и мыслями. Они говорили ему, что у него большой талант и что он просто глуп, если сам этому никак поверить не может. А он и в самом деле постоянно разбивал вдребезги созданное им накануне, никогда не бывал доволен своей работой и не доводил ее до конца, а это необходимо, иначе кто же ее увидит, признает и заплатит за нее деньги?
—   Ты мечтатель! — говорили ему друзья. — И в этом твое несчастье! Происходит же все это оттого, что ты еще не жил, как надо, не вкусил жизни, не пил жадными глотками жизненного нектара. А ведь в молодости-то именно и надо слиться с жизнью воедино! Вот тебе пример — величайший художник мира Рафаэль; его чтит сам папа, ему дивится весь свет, а он и ест и пьет, как все, ни от чего не отказывается!
— Даже от самой булочницы, прекрасной Форнарины! — сказал Анджело, один из первых весельчаков молодой компании.
И многое еще чего наговорили они! Они говорили, что подсказывали им их молодость, разум и желание увлечь молодого художника в круговорот веселья, шалостей — пожалуй, даже сумасбродств. Временами и он сам был не прочь от этого: кровь в нем была горячая, душа пылкая, и он мог участвовать в веселых беседах, смеяться от души не хуже других! И все-таки так называемая веселая жизнь Рафаэля казалась ему каким-то чадом, туманом в сравнении с божественным блеском, которым сияли картины великого мастера. А как волновалась его грудь, когда он стоял в Ватикане перед образами нетленной красоты, изваянными из мрамора художниками древних времен! Какой ощущал он тогда подъем духа, какую силу, какой священный огонь жег его сердце! В нем загоралось желание создать из мрамора подобные же образы. Он хотел воплотить в мраморе то чувство, которое стремилось из глубины его души вознестись к Вечному и Бесконечному. Но как воссоздать его, в каком образе? Мягкая глина послушно принимала под его пальцами прекрасные формы, но на другой день он, как и всегда, уничтожал созданное им накануне.
Однажды он проходил мимо одного из многочисленных роскошных римских палаццо, остановился перед большими открытыми воротами и увидел внутри двора, за расписанными аркадами, садик,

полный душистых роз. Сочные зеленые листья змеиной травы купались в мраморном бассейне, наполненном прозрачной водой. Тут же перед ним промелькнуло видение — молодая девушка, дочь хозяина дома. Как она была нежна, воздушна, прелестна! Никогда в жизни не видывал он такой женщины! Ах, нет, видел в одном из римских палаццо на картине Рафаэля, в образе Психеи. Там она была написана красками, здесь явилась ему живая.
Она ярко запечатлелась в его сердце и мыслях; вернувшись в свою бедную мастерскую, он принялся лепить из глины Психею — знатную молодую римлянку — и впервые остался доволен своей работой. Она имела в его глазах значение — это было ведь ее изображение!
Друзья, увидев статую, громко возликовали: в этой работе художественный талант его выразился необычайно ярко; до сих пор его признавали только одни они, теперь его признает весь свет!
Глина прекрасно передает жизненность тела, но не обладает белизной и прочностью мрамора; Психея должна была ожить в мраморе, и у художника даже имелся этот драгоценный материал: во дворе с давних лет лежала мраморная глыба, принадлежавшая еще его родителям. На ней валялся разный мусор, осколки стекла, обрезки овощей; все это грязнило, пачкало ее снаружи, но внутри мрамор сиял снежной белизной; из него-то и должна была восстать Психея.
В один прекрасный день — звезда об этом ничего не рассказывает, она не видела этого, но мы-то знаем, что оно было так, — узенькую, бедную улицу посетило знатное общество; посетители оставили карету неподалеку от дома и пешком прошли к жилищу художника. Явились они посмотреть на его работу, о которой случайно услышали. Кто же такие они были? Бедный юноша! Или лучше: слишком счастливый юноша! В его студии стояла она, сама молодая красавица! И как улыбнулась она, когда отец ее сказал: «Да ведь это ты, живая!» Эту улыбку нельзя было передать, этого взора удивления нельзя было изобразить! Он поднимал, облагораживал и — повергал в прах!
— Психею нужно изваять из мрамора! — сказал знатный посетитель. И слова эти вызвали к жизни мертвую глину и тяжелую мраморную глыбу, равно как и самого взволнованного художника. — Когда работа будет окончена, я покупаю ее! — прибавил знатный римлянин.
Словно новая эра настала в бедной мастерской; в ней закипели жизнь, веселье, работа. Сияющая утренняя звезда созерцала, как работа подвигалась вперед. Сама глина, казалось, ожила с тех пор, как побывала здесь она, и послушно принимала под рукою художника желаемые формы, передавала знакомые черты. Скоро они засияли высшей, совершеннейшей красотой.
— Теперь я знаю, что такое жить! — ликовал художник. — Эго значит — любить, увлекаться возвышенным, восхищаться прекрасным! То же, что называют жизнью мои товарищи, — обман, пузыри, вскакивающие на бродящей гуще, а не чистый, небесный напиток, приобщающий человека к истинной жизни!
Мраморная глыба была поднята на подставку, и от нее начали откалывать кусок за куском. Художник мерил, ставил черточки и точки, и мало-помалу грубая работа была выполнена, камень стал принимать формы живого тела, очертания божественно-прекрасного образа молодой девушки. Тяжелый камень превратился в воздушную, порхающую, прелестную Психею, улыбающуюся небесной улыбкой, навеки запечатлевшуюся в сердце молодого ваятеля.
Звезда, сиявшая на румяном утреннем небе, видела все это и, право, поняла, что творилось в душе молодого человека, поняла и краску, вспыхивавшую на его щеках, и блеск его глаз в то время, как он воплощал в мраморе создание Божие.
— Ты — мастер, какие жили во времена древних греков! — говорили ему восхищенные друзья. — Скоро весь свет будет дивиться твоей Психее!
— Моей Психее! — повторил он. — Моей! Да, она и должна быть моею! И я такой же художник, как мои великие предшественники. Милосердый Господь даровал мне талант, превознес меня, как своего избранника! Я не ниже кровных аристократов!

И он упал на колени и со слезами благодарил Бога, потом опять забывал Его ради нее, ради ее мраморного изображения, ради Психеи, словно вылепленной из снега и разрумяненной утренним солнцем.
Но ему предстояло увидеть ее живую, прекрасную, воздушную, предстояло опять услышать ее музыкальный голос! Он должен был явиться в роскошное палаццо с известием о том, что мраморная Психея исполнена. Он и явился туда; прошел по двору, мимо мраморного бассейна, куда бежала вода из пасти дельфинов и где в изобилии росли змеиная трава и свежие, пышные розы, а затем вступил в обширную, высокую переднюю. Стены и потолок ее были расписаны картинами и гербами; разодетые слуги, гордые, увешанные погремушками, как лошади во время карнавала, ходили вниз и вверх по лестницам; некоторые лениво развалились на резных скамьях; сдавалось что господа в доме — они! Молодой человек сказал, зачем пришел, и его повели по гладкой мраморной лестнице, устланной мягкими коврами; по обеим сторонам ее стояли статуи; затем молодой человек прошел через анфиладу роскошных, изукрашенных картинами покоев, с блестящими мозаичными полами. При виде всей этой роскоши ему стало как-то не по себе, у него захватило дух, но скоро он преодолел это чувство, и ему опять стало легко. Старый знатный господин принял его очень ласково, почти дружески и, поговорив с ним, предложил ему пройти к молодой синьоре — она тоже желала видеть художника. Слуги опять повели его по роскошным покоям и залам, и вот он очутился в комнате синьоры, лучшим украшением которой была она сама.
Она заговорила с ним; никакое Miserere, никакой церковный гимн не могли бы так потрясти сердце, так взволновать душу! Он схватил ее руку и прижал к своим губам; рука была мягче, нежнее лепестка розы, но от этого лепестка исходил огонь! Он прожог молодого человека насквозь, поднял его высоко-высоко!.. И из уст его полились слова, в которых он и сам не отдавал себе отчета. Разве знает кратер, что выбрасывает раскаленную лаву? Он высказал ей свою любовь.
Она стояла пораженная, негодующая, гордая, с таким выражением гадливого презрения на лице, как будто внезапно дотронулась до мокрой лягушки. Щеки ее горели огнем; губы совсем побелели; черные, как ночь, глаза метали молнии.
— Безумец! — сказала она. — Прочь! Прочь! — и повернулась к нему спиною. Прекрасное лицо приняло выражение знаменитой окаменелой головы с змеями вместо волос.
Упавший духом, осунувшийся, беспомощный, побрел он по улицам, как лунатик. Очнулся он только у себя дома, и тут, в приливе бешенства и отчаяния, схватил молоток, замахнулся и хотел раздробить прекрасную мраморную статую. Он и не заметил, что друг его Анджело стоял позади него. Анджело с силой схватил его за руку.
—   С ума ты сошел?! Что с тобою?
Началась борьба; Анджело был сильнее, и молодой ваятель, тяжело дыша, бросился на стул.
—   Что случилось? — продолжал Анджело. — Приди в себя! Говори!
Но что он мог сказать? Что мог рассказать? Анджело не добился от него ничего и махнул рукой.
— У тебя просто кровь сгустилась от твоих вечных мечтаний! Будь же человеком, как мы все, не живи одними идеалами — не выдержишь! Хлебни вина, увидишь, как чудесно заснешь! Возьми доктором красивую девушку. Девушки Кампании прелестны, не хуже принцесс из мраморных палаццо: и те, и другие ведь дочери Евы, и в раю их не различишь! Пойдем со мною! Я буду твоим ангелом-хранителем! А придет время — состаришься, тело одряхлеет, и в один прекрасный день, когда все кругом будет веселиться на солнце и ликовать, ты будешь валяться, как высохшая былинка, которой больше уж не расти! Я не верю тому, что говорят патеры, — будто за могилою нас ждет другая жизнь, это прекрасная мечта, детская сказка, довольно утешительная, если верить в нее. Но я не предаюсь мечтам, а живу действительностью. Пойдем со мною! Будь

человеком!
И он увлек его с собою; ему удалось это в данную минуту: в крови молодого ваятеля горел огонь, в душе произошел переворот, пробудилось непреодолимое желание порвать со всем старым, привычным, отрешиться от своего прежнего я. Вот почему он и последовал за Анджело.
На одной из окраин Рима находился излюбленный трактирчик художников; устроен он был в уцелевшей части древних терм; старые желто-красные стены скрывались за темной, блестящей зеленью лимонных деревьев, сквозь которую сверкали золотистые крупные плоды. Трактир помещался под глубоким сводом, так что напоминал пещеру. Внутри перед образом Богоматери горела лампада; в очаге пылал огонь; тут жарили, варили и пекли; в саду под тенью лимонных и лавровых деревьев стояло несколько накрытых столиков.
Друзья встретили вновь пришедших с распростертыми объятиями, и закипело веселье. Закусили немножко, порядочно выпили — это веселит и подбадривает — и принялись петь и играть на гитарах. Зазвучала сальтарелла, и начались танцы. Две молодые римлянки, натурщицы художников, закружились в пляске. Две прелестные вакханки! Да, они не были похожи на Психею, не были нежными, прекрасными розами, но свежими, сочными, пышными гвоздиками.
Какая жара стояла в этот день! Она продолжалась даже после заката солнца! Огонь в крови, огонь в воздухе, огонь во взглядах! Воздух отливал золотом и розами, казалось, и вся жизнь полна золота и роз!
— Ну, наконец-то и ты с нами! Отдайся же течению жизни!
— Никогда еще не чувствовал я себя таким здоровым и веселым! — сказал молодой художник. — Ты прав, вы все правы, я был глупцом, мечтателем! Человек принадлежит действительной жизни, а не фантазии!
С пением под аккомпанемент гитар вышли молодые люди из трактира и направились по переулкам города; вечер был ясный, звездный. Обе роскошные гвоздики, дочери Кампании, сопровождали их. В комнатке Анджело, заваленной разбросанными повсюду эскизами, листками и картинами, изображавшими сцены, полные красоты и страсти, голоса зазвучали глуше, но так же весело и страстно. По полу валялись рисунки, изображавшие дочерей Кампании во всевозможных видах; рисунки дышали жизнью и красотой, но сами девушки были еще куда красивее. Канделябр о шести свечах пылал всеми огнями, и при их свете красота девушек выступала еще ярче: из телесного образа просвечивал образ божества.
«Аполлон! Юпитер! Я возношусь к вам, на небо! В моем сердце как будто распускается цветок жизни!»
Да, он распустился... поблек и опал, распространяя одуряющие испарения. Лицо побледнело, мысли спутались... Фейерверк страстей погас, и наступила тьма.
Он добрался до своего дома, бросился на постель и тогда только немного собрался с мыслями.
«Тьфу! — вырвалось из его уст, из глубины его сердца. — Несчастный! Прочь! Прочь!» И он горько, глубоко вздохнул.
«Прочь! Прочь!» — эти слова живой Психеи не переставали раздаваться в его сердце, срываться с его уст. Он уронил голову на подушку, мысли его спутались, и он заснул.
На заре он проснулся и стал припоминать вчерашнее. Что такое случилось накануне? Не во сне ли все это было? И ее жестокие слова, и пирушка в трактире, и вечер, проведенный в обществе пунцовых гвоздик Кампании?.. Нет, все это было наяву, было действительностью, новой для него действительностью!
На алеющем небе светилась яркая звезда; лучи ее упали на ваятеля и на мраморную Психею. И он задрожал, взглянув на этот нетленный образ: ему казалось, что его нечистый взгляд не смел больше смотреть на нее. Он торопливо набросил на статую покров; потом опять было хотел снять

его и раскрыть Психею, но нет! Он был не в силах больше смотреть на свое создание!
Тихий, угрюмый, весь уйдя в самого себя, просидел он весь этот длинный день, не зная, не сознавая, что творилось вокруг, и никто не знал, что творилось в нем самом.
Дни шли за днями, недели за неделями; особенно долго тянулись ночи. Однажды утром яркая звезда увидела, как он, смертельно бледный, дрожащий, словно в лихорадке, вскочил с постели, подбежал к мраморной статуе, сдернул с нее покров, посмотрел на свое творение долгим, скорбным взглядом и затем, почти изнемогая под ее тяжестью, стащил ее в сад. Там был глубокий, высохший колодец, скорее яма; в нее-то он и опустил свою Психею, забросал ее землей, а свежую могилу прикрыл хворостом и крапивой.
«Прочь! Прочь!» — коротка была надгробная речь.
Звезда видела все это с румяного небосклона, и лучи ее задрожали в двух крупных слезах, скатившихся по бледным щекам молодого человека, заболевшего лихорадкой — заболевшего смертельно. Так говорили о нем, когда он лежал в постели.
Монах, брат Игнатий, явился для него другом и врачом. Он явился к одру больного со словами религиозного утешения, заговорил о мире, о счастье, даруемых церковью, о греховности человеческой, о милосердии Бога и спасении через Него.
Слова его были солнечными лучами, падавшими на мокрую, вспаханную почву, и из нее стали подыматься испарения, превращавшиеся в облака — в мысленные образы, бывшие в то же время и действительными. С этих-то воздушных, скользящих в пространстве островов молодой человек и стал смотреть вниз на жизнь человеческую; вся она была обман, разочарование, по крайней мере для него! Самое искусство было волшебницей, вовлекающей нас в грех суетного земного тщеславия! Мы лжем и самим себе, и друзьям, и Богу. Змея, скрывающаяся в нас, твердит нам: «Вкуси и станешь подобным Богу!»
Теперь только — казалось ему — он понял самого себя, уразумел путь истины и мира. В церкви был свет Божий и ясный мир, в монашеской келье — покой; там только древо человеческой жизни могло возрасти для вечности!
Брат Игнатий укрепил в нем эти мысли, и он решился: дитя света стало слугой церкви, молодой ваятель отрекся от мира, ушел в монастырь.
Как сердечно, любовно приветствовала его братия! Как торжественно было посвящение! Сам Господь, казалось ему, присутствовал в церкви, в озарявших ее солнечных лучах, в сиянии, окружавшем лики святых и кресты. И, стоя вечером, на закате солнца, у открытого окна в своей маленькой келье, он окинул взором старый Рим, разрушенные храмы, величественный, но мертвый Колизей, узрел все это в весеннем уборе цветущих акаций, свежей зелени плюща, пышных роз, золотистых апельсинов и роскошных веерных пальм и ощутил в своей груди такую полноту блаженства, какой никогда еще не знавал прежде! Открытая тихая долина Кампании убегала к блестящим, покрытым снегом горам, точно нарисованным на небе. Все сливалось, дышало миром и красотою, все как будто грезило, расплывалось в мечтах, весь мир был мечтою!
Да, мир был мечтою, а мечта может покорить человека на час или на два, затем опять вернуться на некоторое время, жизнь же в монастыре должна была длиться годы — многие, долгие годы!
И ему пришлось сознаться, что изнутри человека выходит многое, оскверняющее его! Что это за огонь жег его временами? Что это был в нем за источник зла, которое вырывалось наружу, несмотря на его сопротивление? И он бичевал свою плоть, но источник зла не иссякал. Что такое заставляло его ум обвиваться змеею вокруг его совести и заползать вместе с нею под плащ Божественной любви? Чей это голос шептал ему: «Святые ведь молятся за нас, Божья Матерь тоже, а сам Иисус Христос отдал за нас свою плоть и кровь!» В силу ли ребячества или легкомыслия он отдавался под покровительство Высшей Милости и чувствовал себя превознесенным над прочими

людьми? Как же! Он ведь оттолкнул от себя мирскую суету, стал сыном церкви!
Однажды, спустя много лет, он встретился с Анджело; тот узнал его.
— Ну вот! — сказал Анджело. — Так это ты! Что ж, счастлив ты теперь? Ты согрешил против Бога, отбросил Его дар, загубил свой талант. Прочти притчу о доверенных талантах! Учитель, рассказавший ее, принес в мир истину! Ну, чего же ты добился, чего достиг? Не создал ли ты себе жизнь праздного мечтателя? Не создал ли себе собственную религию, как и все монахи? А что, если все это лишь мечта, фантазия, прекрасные вымыслы?
— Отойди от меня, сатана! — сказал монах и отошел прочь от Анджело. — Это сам дьявол! Я видел его сегодня воочию! — шептал монах. — Я протянул ему однажды палец, а он схватил всю мою руку!.. Нет! — вздыхал он потом, — зло во мне самом! В этом человеке тоже есть зло, но он не падает под его бременем, носит голову высоко, счастлив! А я ищу счастья в утешениях религии... А что, если это и впрямь только утешение?.. Что, если и это, как все то, от чего я отказался в мире, лишь красивый вымысел, обман, как красота розовых вечерних облаков, как голубая волнующая даль за горами?! Ведь вблизи все оказывается иным! О вечность! Ты, как великий, безграничный, безмятежный океан, манишь, зовешь к себе, " наполняешь нашу душу предчувствиями, а дойдешь до тебя и, может быть, погрузишься в бездну, исчезнешь, умрешь... перестанешь существовать! Обман! Прочь! Прочь!
Без слез, углубившись в самого себя, стоял он на своем жестком ложе, преклонив колени, — перед кем? Перед каменным распятием, вделанным в стену? Одна привычка заставила его преклонить колени!
Чем глубже заглядывал он в свою душу, тем она казалась ему темнее: пустота внутри, пустота вне! «Даром загубил свою жизнь!» И мысли катились и росли, словно ком снега, росли, давили, стирали его с лица земли.
«И никому не смею я открыть этого червяка, гложущего мою душу!
Моя тайна — мой пленник; выпущу я его — я стану его пленником!»
И частица божественного духа в нем продолжала страдать и бороться.
— Господи, Господи! — молился он в отчаянии. — Сжалься надо мною, пошли мне веру!.. Я зарыл в землю Твой дар — свой талант! У меня не хватило сил, Ты не дал их мне! Бессмертная Психея в моей груди... Прочь, прочь!.. И ее предадут земле, как ту, лучший проблеск моей жизни!.. Никогда не восстанет она из своей могилы!
Звезда сияла на румяном небе. И она когда-нибудь потухнет, исчезнет, а души все будут вечно жить и сиять! Дрожащий луч ее упал на белую стену, но не начертил на ней ничего о величии Бога, о Его милости и любви, отголоски которых звучат в душе каждого верующего.
— Нет, Психея тут, во мне, никогда не умрет!.. Жить сознательно?.. Может ли сбыться непостижимое?.. Да, да! Непостижимо — мое я! Непостижим и Ты, Господи! Весь Твой мир непостижим! Он чудо Твоей силы, великолепия и... любви!..
Глаза его засияли и потухли навеки. Звуки колокола проводили его в могилу. Он был зарыт в землю, привезенную из Иерусалима и смешанную с прахом благочестивых умерших.
По истечении нескольких лет остов вынули, как и остовы всех умерших до него монахов, закутали его в темную рясу, надели на руку четки и поставили его в нишу, сложенную из человеческих костей, найденных на монастырском кладбище. Туда светило солнце, доносился благоуханный дым ладана, звуки молитв.
Прошло много лет.
Кости скелетов рассыпались; черепа собрали и сложили в ряды, так что они образовали целую ограду вокруг церкви. В числе прочих лежал тут под жгучими лучами солнца и череп ваятеля; много, много было их тут, но никто не знал, кому они принадлежали, не знали и его имени. И вот

однажды при свете солнца в глазных впадинах черепа мелькнуло что-то живое. Что это было? В пустой череп пробралась пестрая ящерица и шмыгала взад и вперед через открытые глазные впадины. Итак, в голове опять была жизнь, в той самой голове, где некогда бродили великие мысли, сияли мечты, любовь к искусству, ко всему прекрасному, откуда катились жгучие слезы, где жила надежда на бессмертие! Ящерица выпрыгнула и пропала; череп истлел; стал прахом во прахе. Прошли столетия. Яркая звезда светила по-прежнему, все такая же светлая, крупная, какою была тысячелетия; небо отливало пурпуром, нежным, как пурпур роз, алым, как кровь.

Там, где некогда проходила узенькая улица, на которой находились развалины храма, была теперь площадь, а на ней возвышался женский монастырь. В саду рыли могилу; умерла молодая монахиня, и в это утро ее хотели похоронить. Вдруг заступ наткнулся на камень, сверкавший ослепительной белизной. Показался белый мрамор, он округлился в плечо, потом обнажилась и вся рука. Стали действовать заступом осторожнее, и из земли показалась женская голова, потом крылья бабочки... Из могилы, куда хотели зарыть тело молодой монахини, извлекли при свете розовой утренней зари чудную статую Психеи, изваянную из белого мрамора. «Как она прелестна! Какое совершенство! Памятник искусства лучших времен! — говорили люди. — Кто создал ее?» Никто не знал этого, никто, кроме сияющей тысячелетия утренней звезды. Она одна знала земную жизнь творца Психеи, его испытания, его веру в человеческое достоинство и слабость. Бренная оболочка его перестала жить, распалась в прах, как и должно быть, но результат его стремлений, воплощение таившейся в нем искры Божией — Психея осталась!.. И она никогда не умрет, она переживет самую память о своем творце, будет служить здесь на земле отблеском его бессмертной души! И вот ее нашли, оценили и полюбили! Ясная утренняя звезда, горевшая на румяном небе, обливала своим дрожащим светом Психею и освещала блаженно улыбавшиеся уста и глаза зрителей, созерцавших в немом восторге душу, изваянную из мрамора.

Все земное истлевает, рассыпается в прах, забывается; помнит о нем лишь звезда, свидетельница бесконечных времен; все же небесное само сияет и живет в памяти. Но и эта память может угаснуть, тогда как Психея живет вечно!